

Таково вымышленное мое прошлое, взятое взятием у самого себя, — ничемное, пустое, однако же до отказа набитое разнообразным количеством вещей, их признаков, пустотами, где когда-то находилось то или иное, как если бы пространство не успело сомкнуться после исчезновения их — того или иного, — немалые прямоугольники на обоях, висели фотографии — опешит на помощь расхожее сравнение, ничего не поясняющее, приводящее в итоге к целой цепи точно таких же праздных сентиментальных

сравнений, окинув которую мысленным взором с отчаянием решаю, что прошлое, о котором я говорю и так и этак, является неминуемо захламленной кладовой, донельзя набитой одними лишь сравнениями, кружащими голову возможностями сравнения, мало того, едва начинает брезжить свет более или менее определенного суждения, обнаруживается, что колдовская кладовая оживает, бескумно — помнишь? птица, говорилось, в отлогом пасмурном небе, отставшая, не мечется, не кричит, — натягиваются образы и личины, все меняется таким способом местами, не уходя, не возвращаясь, и даже дыры, пустоты, — точно не сомкнулось время, а, напротив, разошлось и продолжает расходиться, — и те облакаются в замысловатый орнамент, на первый взгляд, вполне разумных доводов, из коих явствует: всему свой срок — так твердит один шепот утомленных мышц, шеи, глаз, кожи, а второй, немного утраченный, непроснаженный, продолжает витийствовать, излагая прочитанное, нескончаемую повесть... но что она мне! У меня скули сводит от всего этого. Мой коварный хлам маячит перед глазами, марево, галлюцинация, пар над водами, ложь пресобращенная.

Удивительно, что мысль о самоубийстве никогда надолго не задерживалась во мне, не занимала моего внимания — не для меня забава, — представлялась тотчас по возникновении своему (а мало ли на то причин) гримасой (причин? — о! — зубная боль, потеря любимой пуговицы, письмо солдата в газете, импотенция, запах пирожного, мезоль, весна, искусство, гинекологические неурядицы в мужском быту, дурная погода, хроническое отсутствие денег, славы, любви, падение давления, правоз, рождаемости,

разрушение экологической среды, доброй воли и, наконец, разные мысли, о вечности, например... да мало ли что! Чего стоят неприятности по службе, когда ступенькаются идеалы и уже идеалы проклятые они, а не нимфочки-нимфы, когда отступают ревностные мечты о прибавочной стоимости, то есть о премии, попросту говоря, - отходят перед равнодушным приглашением начальника "поговорить"; а вдруг анекдотец вчерашний, про это самое, вследствие чего гормоны ужаса, изумля частично померкшее сознание неукротимой стихийностью, выбрасываются невидимыми железами... да что там, много причин подстерегает нас, и у каждой в руках веер неприятностей раскрыт широко, распахнут вратани аловыми - баа, да грянет музика!) - гримасой жалкой, как если бы кто-то силился улыбнуться (не растягивая губ, за которыми полны-полю - и зачем столько человеку? - вскользь карием задетых зубов), ухмыльнуться как ни в чем ни бывало, когда плывет в лицо ему, - о, только бы удержать, не открыть улыбкой рот. Блевотина! Отодвинься, скотина...

Нет, с самоубийством у меня связывалось нечто, бытовое-вне опыта, - погоди, но не след ли его, не запах его, риская, выискивал ты в том живописно изображенной чулане, в слившейся мишуре давно оконченных праздников, а теперь свалена без разбора... Мы говорили... Нет, постой, что искал?! Где был, куда уходил? Кто? Э-э-э...

Город ледяной игровой картой лежал, золотился по образу. Но мне жарко, откройте окна, пожалуйста, - такая жара, не по сезону. А в позапрошлом году? Ну, так ведь в том году и зимы-то

не было, слякоть одна. Смешно, смешно...

Нет, нет, распаял безрассудно я себя, — тайна помести; определенно, сокровенная ее тайна, связана со словом самоубийство — "забава не для меня" полезло под колеса успокоительно, от чего подбородок упруго вынытлся и два крыла рта упали вниз — мистерия для черни, равно как и иные представления, миражи, трагедии. Сегодня и завтра, проездом, труппа всемирно прославленных специалистов будет представлять психологический Гуманизм, романтическое Братство и патетическую Демократию. В утренние часы для старшеклассников, как обычно, с использованием всей находящейся техники будет дана испытательнейшая Утопия с последующей раздачей леденцов и наборов для рукоделия: "Утопия в твоих руках. Сделай сам". Спешите. Санит весь состав. От бритеток пахнет речной водой, это когда запах воды мешается с горячим духом мазута. Или когда на них оказываются нательные кресты, фальшивые, как и они сами.

Потом, пробираясь в праздничной оживленной толпе, по небережным, толкаясь, локтями разгребая, уже западая в себя от обилия смеха и раскланиваясь сдержанно, со вкусом, — с теми, кого встречал: знакомыми, преничными светлоглазыми владельцами фамилий, составленных из чудных созвучий без единой "с", — я по дребезжащей пластинке в кривых рибках полночи, спотыкаясь на каждой вытине буквы, распеваа себе в уши, что означает — голос пускается по внутренним покоям — вначале побег, но тщетный — в чертоте горла ежука, мухи, пустые комары, тихие кости, просверленные для него, убежищем служат долгое время, и надо быть тогда терпеливым, не дразнить его, потому что уйдет сон-



ний, потянется к плоским островам, к дельте, заросшей осокой, к глиняным порам, ко всему тому, что так далеко и все дальше, дальше, туда и уйдет, а не в уши, как нужно, куда я распева́л текст того, что вложено было в мой сон несколько раз, когда, клонясь блаженно под шум дождя на подушку, взмывал, — пустело сердце на лифте, зная, что он не подчинен мне; заросли кожей-той плесенью кнопки, зеленые с тиснением необходимыми: I-й этаж, второй, третий... и еще одна кнопка с запятой полустертой, как если бы ее нажимали часто, на ошупь замшевая; и я в надежде, потной простыней обжигаясь, гладил поверхность банной истертой, покуда не пробивала разрядом одним мысль: что не так с самого начала сделал — нужно поэтому восстановить картину во всех деталях, найти упущенное, разрыв в веренице мелких, многозначительных инструкций, — и почему-то слово "атараксия" венком худим выжигалось страстно в волосы, и надо было одновременно искать ошибку, просчет, небрежность и отдира́ть колечки от волос, а лифт несся, потрескивая горячей спичкой, дальше, пролетая по многу раз мой этаж, и мелькала у лица инлая дверь квартиры, где мог бы быть, уносясь, тотчас нарадивая бег, но потом вверх, вверх, трехгранно, острее, уже со всех сторон — туда, где, по моему разумению, никаких этажей, и жду затылком, лбом, когда вне окажусь, лишенный спасительной тяжести, выключит когда-то глухо из кровли веселая моя коробка, качнется на атласной слоне паутины, облуждающей этак над землей стадами и... этажи валятся, валятся сверху, уносясь книзу, опяется, как ниджани в учреждении к обеду, вдоль перил, и конца не было.

Мне стало немного душно, и я погладила спутницу по руке:

— Нежности? — насмешливо спросила она. — Как понимать?

- Душно, - объяснил я, - Парит. Дышать трудно. Быть дождю.

- Но вы не дорассказали, - сказала она, снимая мою руку со своей, - Что потом? Виделись ли вы потом?

- С кем? - опешил я. И тут-то дошло до меня, что на протяжении всего нашего пути я ей беспрерывно рассказывал о своем соседе. - Ну, чем кончаются все истории? - переспросил, - Я его больше не видел, он, вероятно, переехал, или я переехал; сменил место проживания и он и я, и не видимся более. Ну, чем заканчиваются подобные истории? Одним и тем же - кто-то уезжает, кто-то остается, чтобы рассказывать за бутылкой вина случайному собеседнику о деньках незабвенных, проведенных за душевной беседой... Что потом... потом? Он жил через дорогу. Я на седьмой линии, он на первой. Это там, за мостами, за рекой. Вначале, как водится, я его не замечал, когда встречался в булочной, в гастрономе, - доводилось.

Двигаясь по этим местам с руками, живущими отдельно, заведенными двумя-тремя несложными мыслями о покупке насущной батона за тринадцать копеек, папирос или сигарет, что, в сущности, безразлично для меня, но лучше табак, из которого скручивать приятно толстые, безнадежно-рыхлые, прогорающие в мгновение ока цыгарки, уот, а также бутылку вина (на этикетке - лето), если выдастся случай, а также молоко, а также чай, а также сыр перепавший и искро-сетчатый, - двигаясь по кругу неприязнительной необходимости, побрякивая разноцветной мелочью в горсти, я набегал замечать что-либо, выделять из пленительного, кружащего голову однообразия, никоим образом не обольщаясь на свой счет, ибо находил, что совершенным безразличием ко мне

прекрасен этот утренний покой, дарующий меня безопасностью безлюдных солнечных, туманных, дождливых улиц, напоминающий при всем этом далекие и смутные обилием теней, чем-то не завершенные дни на юге, когда, наученный Александром, пренебрегал одним во мне всего, что немалой метелью тополиного шума, лии, (как сквозь толстое) стекло любопытства), пальцев ног, живших в стоптанных легких сандалях — внизу, и отпечатков на прямом льдистом стекле, исполненных сходства с невиданными туманными гроздьями необыкновенно прозрачного винограда, — всего, что проходило сквозь меня приятно нечеловеческим сквозняком, не посягая ни на внимание с моей стороны, — так привыкают звери и ходят безбоязненно около, — ни на меня самого.

Несколько времени спустя, когда поприщик, выкладывав на прилавок деньги, — уже было не раз так — вслед за ним, — о котором узнал позже, что живет через дорогу, — в той же булочной, в том же гастрономе, где просыхали мраморные свечевыми-тые поды, — он выбирал из выеденной прикосновениями плиты остаток медью, я протягивал нутровскую горсть; он удалялся, я, оборотясь в его сторону, поневоле следил за ним, танцующим в белоснежной футболке, угадывая под ней и под легкими застиранными штанами плоть, совершенную и независимую, как его поступь, а в себе — первые признаки того чувства, которое называется сожаление, — потому что разомкнутый круг — встреча — возвращал меня к удивлению, к вопросу, к недоумению и затем к непреодолимому желанию покончить с вопросами... и в самом деле:

— И в самом деле, — пробормотал я, обращаясь к кассирше, — Вы его знаете? (двойники, фантазии с двойниками меня не устраивали).

— Да, — ответила она, — Немой он. Уже год как ходит.

Теперь мне стала понятна карточка, которую он держал в руке перед собой, когда выходил, — крупно, столбцом написанную литерами и цифрами, и в которой успел я, изогнувшись, как будто бросившись с крутого берега, сгибая телом в воздухе ту-пую теплую отшель, кинувшую мне навстречу, снизу, темную меховую шапку удара и жирную соль погружения в маслянистые полукружия крови, — прочесть успел: "Чай — 38, хлеб — 16, сигареты — 35, молоко — 30, масло — 36, джем — 56, спички... кофе... пиво... яблоки..." До чего неслазно!

И как-то вечером, возвращаясь домой, я увидел его на скамейке в Соловьевском саду. Вначале он был не один. Сидела... Сладко расплылось соблазнительное: "А что если на этом закончить? Забыть о нем" — тем паче, что неожиданно, впервые за последние дни, пьянящая воровской, запретной радостью подступала почти к самому лицу очевидность того, что потом я за досужим размышлением где-нибудь в расстроенном трамвае на скорую руку переимену "учением дерева", в котором улягутся рядом понятия пространства и смерти, потому что — совершит странный веселый скачок мысль — точно так же, как дерево, расширяющееся в пустоте ветви, связывает ее, организует, воспринимая в нас одновременно благородное чувство объема, глубины, — так первая смерть предлагает сознанию преодолеть иллюзорную линейность существования, сообщая ему некую глубину, перспективу, отрадную, как бы выразиться, неоспоримой подлинностью... смерть тогда обнаруживает свое сходство с ветвями; мы растем во времени смерти, — обнаруживает себя творительный падеж, — и благодаря ей находим истинное равновесие красоты, — но вот корабль, который я с энтузиазмом возведу на песке, внезапно дает течь,



и, слома голову, я бросусь за борт, рискнул сложить себе ноги. Иней, смех, ломкие морозные прутья. Ива.

Когда я остановился около него, не думая о будущем неминуемом крахе, исполненный таинственным лишь звучанием, в котором слух надуывал отсветы неизвестной мне мелодии нового поразения, — тут я хочу заметить, как по душе нам всем игра в кубики, сколько наивной радости доставляет она нам, какую безмятежность несет она сердцам, полны их мгновениями так называемых созрений независимо от того, что с чем складывается: ферзь ли с профилем Диотимы или эоны со скорлупками элементарных частей, либо числа с числами, куда, словно заходящее солнце, опускается полуслучайное слово, — он сидел один. Бе... кого-то, словок, не было. Он поднял на меня глаза, улыбнулся, витания из-за пояса листов, а из заднего кармана, подавался вперед, — карандаш; написал: "Мы, кажется, соседи? Хотите говорить. Я хорошо слышу".

Раздельно, так разговаривает с иностранцем, и громче обычного я произнес: "Я давно знал, что вы соседи. Видел вас. Будем курить?" Он утвердительно кивнул головой и снова, опять-таки из-за пояса, витания две сигареты, черная целлофаном воздух, — себе одну, вторую мне. Над рекой было светло. Еще светлей было над Синодом. И деревья вверх, где что-то глухо потрескивало, были покойно светлы, темней и подножию стволами, и троллейбус слепой за стволами крадся, урча бархатно. "Ну вот...", — проговорил я, и не мог больше ничего сказать. Где я был, если не здесь?

Он всмотрелся в огонек, розово цветущий на конце сигареты, ласково положил ее на скамейку и на обратной стороне листа,



где писал минуту до того, вывел нетерпеливо: "Вам любопытно?" — взглянул на меня, отчего я понял, что необходимо ответить, и я сел рядом, а после сказал: "Не очень. Не совсем, вечером. Утром, другое дело..." — и, поразмыслив, прибавил — "Такое раздражает утром". — "Почему?" — а на самом деле поставил он вопросительный знак плавным бескетным росчерком — "Это же просто", — "Ага, — догадался я, — Вы и слышите, и говорить, наверно, можете, да?" — Он кивнул. — "А зачем?" — спросил я. — "Вот? Искрист? Апофатическое богословие? Познание? Неприятие? Что?" — сигарета не тянулась, и мне сразу все надоело. — "Боже мой! — сказал я. — Неужели этого нельзя избежать, я имел в виду..." — Он остановил меня, притронувшись к колену. Следует описание пейзажа.

"Вы не так поняли, — быстро начеркал он. — Я, потому что сам..." — тотчас зачеркнул написанное и новое вывел пониже, в конце листка: "Плохо видно. Постаравсь так — стало понятно, что много говорил; разное говорил, и мне плохо, язык — не дуг, болезнь. Без конца одно и то же". Три последних слова он (не считая союза) обвел овалом. Должно быть, в них крылась его тайна.

На листке оставалось еще немного места, и он не преминул его заполнить: "Вы не пробовали голодать? — Молчать — то же, только лучше". — "Пробовал", — сказал я. — "Почему не пробовал. Все пробовали". На его лице проявился интерес. Видимо, он кдал, что я ему расскажу, как у меня протекало все это молчание и голодание. "Не помню, " — покал я плечами.

Кажется, мы пошли к нему домой. Ну да, так и было... Вроде бы он посадил меня в грязноватое кресло, из которого торчал

клик порою... Кажется, в его постели спала девушка, которая, мне, на самом деле не спала, а разглядывала меня, моргая, а, возможно, подмигивая. Кажется, мы беседовали, если наши отношения можно назвать беседой, а не игрой в карты, и из беседы с ним я узнал, что он не принимал, оказывается, никаких решений, а просто в один прекрасный день с ним как бы что-то случилось, — разумеется, и вспыха света, и остальное, и восторг, и понимание: медленной стал в словах, ворочались они у него с трудом на языке, а в голове однажды вовсе их не стало — последние слова, написал он, улыбаясь растерянно, покинули его, и вот он просыпается — никого, ничего, один он. "И я не знал долгое время, что же делать с собой, — закончил он, — Наступили дни мира". Он двигал листки с усердием нахматного игрока.

По мере того, как темнело, накалялась лампа под потолком. Девушка потянулась, продемонстрировав неопытные подмишки, зевнула и скинула с себя простыню. Она продолжала лежать, и раскаленная бегущей паузой ночи — смерклось вдруг — лампа обливала ее желтым огнем. Вот эта не загорала, подумалось мне, она никогда не выходила из комнаты... Настала пора назвать его, — подумал я, — потому что говорить с ним "он" чересчур утомительно. Он вынул с кучи чистых листов один, задвигал карандашом, после чего подал лист ей (девушке, которая вначале моргала, смотрела, потом скинула на пол простыню, а после того зевнула во весь рот).

— Одеться? — спросила она кого-то над собой, в потолок обращаясь.

— Одеться... — с другой интонацией проговорила она, как бы раздумывая, — Значит, одеться, — произнесла она с горечью. —

Натягивать блузку, юбку и все остальное? — Я хотел было заметить ей, что она не относится к числу тех особ, кто носит "все остальное", но передумал, а тут еще ее приятель, затанцовавший меня к себе, подал через стол ту книгу страниц, с которой лишь только снял чистув. "Титульный лист", — решил я. Тотчас я нашел, что думать стал как-то отрывочно, наподобие тех записей, коими мой сосед истчевал меня, а он, должно быть, заканчивал еще одну... и я прочел: "Это осталось от других разговоров. А кое-что сам для себя записал, так сказать, чтоб не забыть. Посмотрите, еще не скучно".

— Одеваться так одеваться, — вздохнула его подружка, — Вечно: то раздеваться, то одеваться. — Не накинув на себя ровным счетом ничего из "всего остального", она прошла мимо меня, едва не задевая мои плечи высоким бедром, приблизилась к окну, — когда, наконец, в литературе все сидят и спокойно говорить будут, не бросаясь к окнам и обратно, не расхаживая туда-сюда, подавая тем самым повод развивать необременительную тему интерьера, нежно уклоняясь в философские отступления относительно вещей, несущих на себе облик их владельцев, но что мог рассказать мне раздавленный окурок в пустом спичечном коробке? Какую печать чьего облика следовало искать в нем? Я смотрел на ее длинную спину, сирне спутанные волосы, лежащие мне лопаток, на ноги, чуть расклевывшиеся узким углом от колен к бедрам, на синюю вену, томительно мерцающую под кожей голени, таившую в подколенной впадине, где тень, — смотрел. Она, перегнувшись через подоконник, вниз смотрела, я на нее — недолго, правда, несколько секунд: ожидало меня то, что "осталось от других разговоров" и что я себе довольно

смутно, но представлял, — да, отвращение... да, немощь... да, гнев ослепляющий, разрушения —

"Если язык говорит нами, то кто же тогда молчит?" — Я потер глаза, отгоняя неуклюжую химеру прозрачного намека; и вскоре, так как она стала что-то бормотать, размахивать какими-то студенистыми колючеостями, —

"... стал чище видеть..." — прочел дальше, перескакивая через детальные описания того, что стало чище, — "Вначале мне казалось жестокость... Чистота, не больше... — и снова рефреном, — Я стал видеть, что мне не хватало до сих пор желания мыслить, думать легче, думать располагается вольно: и тут, и там, повсюду одновременно. Мыслить труднее — что сейчас для меня обозначает покуда самое простое — ступить шаг за шагом, не упуская ничего, не изыскивая подмены, отвергая аналогии... В противном случае следует дурновкусие художественных пассажей, схожих с лескутным одеялом, — вместо нити. Предпочтение нити, пускай мой разум годится на то, чтобы довольствоваться лишь узлами, но — нить. Не одеяло же было дано Тезее, а нить".

Я поднял голову. Она стояла лицом, то есть не лицом одним ко мне... животом выпуклым, как у Фрэнкса, торчащими в сторону большими грудями, шеей, руками, вывернутыми ко мне ладонями, на которых тлели искры пота, — опущенными вдоль острых высоких бедер, а я... я добрался как раз до любопытного, на мой взгляд, но дословно: "Достоевский (вот оно! как я ждал этого имени...) — тверец для глухих, читающих по губам или по ряду принятых в силу каких-то правил знакам... своя особенная, искусственно созданная азбука, которая тотчас терлет смысл, если перестанешь говорить. С тех пор, как я не произношу слов, он пропал. Странно. Но другое! Я, любивший его тяжело, до снов, беспокойно...